Евгений КУРДАКОВ

БАБОЧКА НОЧНАЯ



В начале июля я поселился в маленьком алтайском селе, чтобы начать делать при местном музее Сад корней.

Всю зиму мне здесь готовили корни, стаскивая трактором в одно место выворотни и коряги с реки и с задворков села, – и теперь внушительный завал грязных, спутанных чудовищ громоздился на поляне, ожидая моих рук.

В основном это были тополевые и пихтовые комли, оставшиеся от бревен, пущенных на дрова.

Мой заказчик, директор музея, был в отъезде, и я рискнул начать без него.

Зимой он часто приезжал ко мне в город, мы много говорили о будущем саде, о сказочных полянах, о Стране детей… Что-то грезилось нам обоим туманное и прекрасное, но каждому – свое и по-своему, и наше мечтательное единодушие мы в то время принимали за единоверие…

Прямо у въезда в музей я соорудил обширный навес под тополями и сколотил верстаки. Мне помогали два музейных старика, которые постоянно переругивались и ворчали друг на друга, что, впрочем, нисколько не мешало делу. Старики были местные, росли и жили всю жизнь рядом, и всю жизнь, видимо, соперничали. Я был уверен, что и сейчас в случае чего они могли схватиться на кулачки… Это было смешно, забавно, и я знал уже, что первый же раздвоенный выворотень превратится у меня в этих переругивающихся, но добрых музейных домовых…

Двое из одного ствола…

Село лежало в просторной горной долине. Справа над рекой нависала мрачная треугольная Моховуха, а слева, на Рудничной, тяжелой и плоской горе, время от времени громыхали взрывы, – там готовили площадки для буровых. Звук от взрыва доходил уже после того, как на горе взлетал рыжий фонтан камня, – и гулко раскатывался по селу. Грачи и вороны тучами срывались с деревьев и, заполошно крича, долго кружили в небе.

Ничто, кроме этих редких взрывов, да еще ежевечерних перебранок подъезжающих с дойки доярок, не нарушало тишину округи, залитой июльским знойным покоем…

По утрам, когда я приступал к работе, на Могилишной горе запевал пастух дурачок Алеша. Он выводил своих овец туда, наверх, и раньше всех встречал солнце. Собственно, он не пел, это были какие-то гортанные протяжные завывания. Что-то древнее и забытое слышалось в этих звуках, которые неслись за селом, как молитва, может быть, оберегая и охраняя его от всех видимых и невидимых напастей…

Первый пень, который я вырубил, не вызвал у меня особых размышлений: огромный булыжник, глубоко вросший в его стержневой корень, не оставлял сомнений в том, что он находится в чьем-то жадном рте. Я вытесал будущему Камнееду малахай, лихо сдвинутый на бок, и озорные выпученные глаза. Почему бы в Саду корней кому-либо не питаться камнями? Если повезет, я обязательно со временем подыщу и сделаю ему подружку, Камнеедку, такую же расхристанную и легкомысленную особу, как и он…

Было радостно работать, как играть, постукивая и напевая, и деревенские дети, с первого же дня ставшие моими верными зрителями и сообщниками, сразу же приняли и поняли мою игру. Рассевшись на груде корней, они с хохотом декламировали вслед за мной:

– Что сегодня на обед? – крикнул громко Камнеед. – Ты разуй глаза сначала, – Камнеедка отвечала, бросив в миску сгоряча два каленых кирпича!..

Дети ждали продолжения, и мне приходилось лихорадочно придумывать дальше:

– Эту кашу из щебенки – на второе, для прокормки! А на третье тебе, вот, – из булыжников компот! – Замечательный обед! – крикнул сытый Камнеед…

Я замешивал тесто из опилок с клеем и тщательно замазывал все щели и выбоины на глуповато-покорной голове Камнееда, – ему предстояла нелегкая жизнь под открытым небом, и надо было позаботиться о его будущем…

Иногда, вместо отдыха, я бродил по сосновой роще, где мы думали разместить Сад корней. Поспела клубника, и под соснами, едва наклонясь, можно было с одного места набрать горсть ягод. Я ходил по полянам, мысленно расставляя на них будущие скульптуры, вдыхал терпкий дух хвои и всё думал о том, что ни в коем случае нельзя опускать Сад корней до иллюстрации, превращать его в регламентированное зрелище, разменивать на общеизвестное… Никаких умилительных колобков на пенечках, избушек на курьих ножках, толстых царевен-лягушек и белочек в теремках…

По вечерам Алеша гнал своих овец обратно, он задерживался у моей мастерской, долго и загадочно улыбался во всё свое широкое, уже немолодое лицо и что-то мычал, показывая на корни. Овцы не отходили от него ни на шаг, и всё стадо, сгрудившись вокруг своего поводыря, блеяло и сильно наседало на ограду. Крепко пахло овечьей шерстью, пылью, я махал Алеше рукой, и он, засвистав, уводил своих подданных туда, в деревенские путанные улочки, где уже выходили навстречу ему хозяйки…

Я постепенно проникался этим покоем, этой свободной детской радостью своих маленьких болельщиков, этими горами вокруг, поросшими по высоким гребням, и всё больше втягивался в работу.

Шли недели… Уже были готовы и Камнеед, и Девушка с оленем, и Хохотун, – и в очередной пень я врубался уже сразу, не задумываясь, не очерчивая контуры, – едва лишь забрезжит что-то в силуэте корней и какое-либо пятно или случайный штрих вдруг проявят мне его будущий объем, его сущность.

Главное – полностью раскрепоститься, с безмерной верой в неслучайность случайного. Ничего нет случайного и пустого, всё происходит для чего-то, и всё имеет свой смысл, даже моя работа, даже блаженная улыбка Алеши, даже вон то пятно на рубашке деревенского мальчишки…

Как-то мои старики привели меня к бабке Ульяне, которая прослышала, что приезжий чудак собирает коряги, и не преминула, по добродушной деревенской хитрости, использовать это.

– Вот, посмотри, сынок, может, пригодится, – подвела она меня к громадному корню у ворот, оставшемуся, видимо, после того, как само бревно распустили на дрова, – уж как он мне надоел, этот леший проклятый. Каждый вечер пугаюсь его… Право, леший…

Я обошел пень. Это и впрямь был леший, да еще какой! – смесь кривозубой Бабы-Яги с курносым бульдогом.

– Спасибо, мать, заберем мы у вас этого лешего… А нет ли еще чего?

– Да, вон, разве в огороде два пенечка еще… Да ведь они мне и не мешают, однако…

Мы прошли ее крошечный дворик, посреди которого стояла коза, позванивая громадным боталом из автомобильного поршня, и вышли в огород, где росли подсолнухи. Бабка Ульяна, видно, подторговывала семечками. Подсолнухи были ровные, хорошо выщипанные, и среди всего этого золотого огорода стояло странное пугало, одетое в военную форму с одиноким погоном медицинского майора.

– Погон-то зачем?

– Да оно вроде бы построже, с погоном-то. Ты думаешь они, скворцы-то, не понимают, что к чему? Они всё-о нынче стали понимать.

Мы отказались от ульяниных пенечков, а за лешим обещали прислать трактор…

Весь день я работал над Щербатым щуром и весь день из головы у меня не выходили из головы слова об образованных теперешних скворцах, а в глазах всё стояло то пугало-солдафон среди чистого подсолнечного поля…

Сделать бы на одной из полян Сада огородный театр: чучело-пожарник, чучело-трубочист, чучело-клоун… Соломенная Кострома в квашне… Фонари, барабаны, свистящие пузыри и перья… Куклы, манекены, петрушки! – и все самых разных размеров, ибо большие куклы – это всегда пародия, а маленькие – комедия…

Наконец приехал мой заказчик. К моему удивлению, он не выразил особого энтузиазма при виде уже готовых работ и только сухо спросил:

– А вы не продумали, как это всё будет сочетаться с деревянным детским городком и павильонами? С игровыми площадками и каруселями?

Я был несколько ошарашен – ни о чем подобном не было речи тогда, зимой, когда мы обсуждали будущий Сад корней, и я только растерянно развел руками.

– Вы подумайте над этим, – продолжал мой заказчик, – а то получится у нас тематический винегрет и неразбериха… Покос кончается, и у нас есть возможность пригласить бригаду плотников. Я думаю, что они уже на днях начнут рубить избушку Бабы-Яги и детский городок… И очень прошу вас, гоните из мастерской ребятишек, им здесь совершенно нечего делать. Еще кто-нибудь пропорет ногу – скандала не оберешься…

Он ушел, оставив меня в замешательстве и раздумье…

Где-то за Рудничным горели леса, тревожный запах дыма просачивался вечерами в долину, и мои старики, беспокоясь и принюхиваясь, всё вспоминали разные пожары и палы, которых они много повидали на своем веку. Трещит и взрывается сухая хвойная подстилка, рушится подточенный огнем тонкомер, а большие деревья так и остаются на корню громадными и черными головешками… Всё бежит и прячется от огня, все звери и птицы, только птенцам на гнездах да муравьям деваться некуда… Мудрее всех змеи, они загодя собираются в большие поезда и так, полусплетенные, отползают в болота… Я слушал стариков и думал о том, что завтра надо начать делать Змеевласа, тополевый корень для которого я уже приглядел, да всё не решался за него браться… Это будет спаситель змей, владыка мрачной Согры… По дымящейся траве к нему подползают змеиные поезда, и змеи, расцепившись, одна за другой вползают в его пустые глазницы, чтобы там, в теплой и сухой трухе его чрева, переждать напасти и успокоиться…

Сосновую рощицу оккупировали плотники. Прямо против входа в музей они сколачивали павильоны, а на большой поляне уже поднималась избуш-

ка на курьих ножках. Робкие мои попытки возражать мой заказчик пресекал сухо и твердо:

– Если увлечемся заумью, нас могут не понять или понять превратно. Продолжайте пока заниматься своим делом, а там посмотрим…

Единственное, чего я мог добиться у него, это выпросить на день машину, так как корни, заготовленные зимой, в большинстве своем оказались непригодными и нужно было съездить в лес.

Почти месяц не было дождей, и по сухой лесовозной дороге довольно легко мы поднялись на музейном грузовичке почти на самые белки. Там было прохладно, иногда даже зябко от снеговых останцев на северных склонах. Кедровый лес обрывался здесь сразу, без перехода, и сразу же начинались заболоченные альпийские луга. Вдоль ручьев отцветали уже родиолы, а поляны сплошь пестрели серыми шишками левзеи. По границе леса было много ветровала, и мы без труда загрузили кузов нашей машины прекрасными кедровыми выворотнями, лучшим корнем из всего того, что мне пришлось переделать.

Мы спускались с гор, и я, сидя в кузове, всё поглаживал бока одного из пней, к которому я сразу почувствовал особое расположение. Я уже прекрасно знал, почти видел, кто это будет. Даже волнистая фактура подчеркивала его водяное происхождение, но это будет не Посейдон и не бородатый Нептун, который потребует себе в обрамление откровенно-убийственный трезубец… Это будет Князь рыб, юный князь с загадочными пушкинскими глазами… Он выплыл ко мне из этого замшелого выворотня сразу, еще там, наверху, где он лежал в своем болоте. В очертаниях двух болотных отпрысков я сразу же разглядел плавники рыб, приникших к нему, и это были не форели или хариусы, это были Рыбы вообще, сильные, необузданные, веретенообразные существа, стремящиеся к своему покровителю…

Водруженный на верстак Князь рыб на несколько дней охватил меня своими могучими отпрысками, постепенно превращающимися в две ажурные стаи рыб, и я работал внутри, дыша запахами кедровой плоти и почти не замечая времени…

Вечерами я еще пытался вести дневник Сада, но каждый раз к концу дня, совершенно вымотанный работой, почти засыпал на крыльце, едва успев что-то нацарапать в тетради…

На свет моей лампы со всей округи слетались ночные бабочки, шелкопряды и бражники. Обожженные электрическим жаром, они прилипали к столбам веранды или отлетали прочь, в темень ночи, – и будто растворялись в ней. И невозможно уже было различать, где бабочки, где звезды, где сон, где явь…

…звезды брызнули в зенит, тая, отлетая… В сон усталый мой летит бабочка ночная. Золотой чешуекрыл взмахом тьмы крылатой танец ночи закружил – незамысловатый… Звезды Рыбы и Стрельца потерялись в травах, и касаются лица взмахи крыл шершавых…

– Всё, что было во сне, когда-нибудь случается наяву, – бормотал я присказку Юрия Олеши, и я уже точно знал, что эта огромная Бабочка Ночи опустится когда-нибудь на одну из полян моего сада… Хотя, наверняка, еще не этого… Я уже понимал, что Сада корней здесь не будет.

Лето сжигало свою вторую половину, и дни по-прежнему стояли высокие, светлые, знойные. Всё чаще подходил ко мне мой невеселый заказчик, директор музея, замученный административной круговертью и неопределенностью того, что мы делаем. Он тревожно и ревниво осматривал уже готовые работы.

– Почему Князь? И почему рыб? – спрашивал он меня с недовольной досадой. – Почему не что-то иное, более ходовое и понятное?

– Потому что корни неуправляемы, – отвечал я, но видя его недоумение, спешил объяснить: – Ну как можно, например, из Князя рыб делать что-то другое? Это кощунство! Надругательство над материалом!



– А из какой сказки ваш Князь рыб? Я что-то не припомню такого сюжета.

– Из моей, из вашей… Это из ненаписанных, тех, что тысячи, и у каждого своя…

– Князь рыб, Змеевлас… Мне кажется, вы повторяетесь… А потом, от кого это вы всех спасаете? Не слишком ли много спасателей?..

Он внимательно и строго смотрел на меня, и в его глазах читалась административная оскорбленность и еще почему-то испуг… Он, видимо, сам был не рад, что связался с этим делом…

Часами сидел я теперь перед побитым молнией и выгоревшим изнутри стволом большого кедра, вернее тем, что от него осталось, – черным полукоробом с перистоподобными расщепами наверху. Это было огромное деревянное крыло… Ну просто крыло, – меня это не устраивало. Да, молния поражает в первую очередь выдающиеся деревья, но почему это пораженное дерево приняло форму крыла?

Внутренне я не сопротивлялся своему флористическому анимизму, душеверию: мне нужно было найти…

Громовые деревья арийцев… Жрецы-друиды, люди дубов… Если бы в Европе росли кедры, то друиды бы молились не дубам… Дух дерева и дух грома был всегда одно и тоже: Перун, Зевс, Юпитер… Не от того ли, что первый огонь был дан человеку деревом, вспыхнувшим от молнии? И этот огонь, ниспосланный, по убеждению наших пращуров, свыше, этот жар-цвет наших сказок, пламенный цветок огня, расцветший в сердце дерева, – не он ли дал в конце концов человеку всё, что он имеет сейчас? Дал крылья ему, наконец?

Крыло и цветок…

Я понимал, что рождается символ Сада корней, но уже предчувствовал, что это будет моей последней скульптурой здесь, в этой чудесной сосновой рощице, донельзя уже изуродованной балаганами с пластмассовыми крышами. Плотники делали свое дело. На одной из полян уже и мельница махала решетчатыми крыльями, а на березах болтался, подвешенный на цепях, якобы сундук Кощея. Князь рыб, несмотря на мои протесты, был поставлен возле избушки на курьих ножках, и совершенно потерявшись, казался просто случайным идолом, приставленным к ней…

Мой заказчик уже демонстративно обходил мои верстаки, едва здороваясь по утрам. Лишь раз, как бы споткнувшись, он вдруг встал напротив почти





готового Крыла и, не вынимая рук из карманов замшевой куртки, долго и тяжело его рассматривал.

– Что это? – вдруг, как очнувшись, спросил он.

– Крыло и цветок… Символ сада: жизнь и стремленье…

– Очень и очень туманно… Надуманно… Никто не поймет… И знаете, ваше крыло больше смахивает на памятник погибшим летчикам… Вам бы советоваться, прежде чем начинать что-то новое… Кстати, вашего Змеевласа мы решили переименовать в Медузу Горгону… Работайте…

И он пошел к плотникам.

Утром я уезжал. Я брел через село к автобусной остановке, инструмент в мешке тяжко оттягивал мне плечо.

Вставало солнце. На Могилишной горе запевал свою утреннюю песню пастух Алеша, мычали коровы, и лопухи по обочинам слабо посверкивали подсыхающей уже росой.

И синеватые горы вокруг, к которым я так уже привык, и сосновая рощица у здания музея, и крыши знакомых изб, – всё с каждым шагом отдалялось прочь и уходило навсегда…

И уже поднимаясь на ступеньки автобуса и внутренне оборвав в себе всё, что осталось уже в прошлом, я вдруг услышал за спиной громкое звяканье и обернулся.

Это бежала по лужайке коза бабки Ульяны.

г. Усть-Каменогорск